

Акварель Ноэми



С. Сладков

Станислав Сладков

Акварель Ноэми

«Автор»

2026

Сладков С.

Акварель Ноэми / С. Сладков — «Автор», 2026

Он — бывший вундеркинд, чей дар обернулся проклятьем: его руки дрожат перед чистым холстом, а панические атаки стирают грань между страхом и жизнью. Она — французская художница, рисующая мелом на асфальте, — появляется в его мире как яркое пятно на сером полотне, не спрашивая разрешения. История о том, как хрупкая девочка с мелкими научила мальчика с паническими атаками дышать по-настоящему. Для тех, кто плакал над «До встречи с тобой» и верил в свет в «Вино из одуванчиков». «Акварель Ноэми» — роман о том, что настоящий свет не гаснет. Он остаётся в каждом мазке, в каждом цвете, в каждом сердце, которое осмелилось любить.

© Сладков С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1: Белый шум холста	5
Глава 2: Уличный скетч	9
Глава 3: Призраки атриума	13
Глава 4: Первый сеанс	20
Глава 5: Натюрморт с молчанием	26
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Станислав Сладков

Акварель Ноэми

Глава 1: Белый шум холста

Тишина в его комнате была особенным, хрупким созданием, которое Себастьян Фогель лелеял и охранял. Он добивался её неделями переговоров с отцом о звукоизоляции, отключил тикающие часы и упрямился наконец заменить старый скрипучий паркет. Эта тишина стоила ему насмешек одноклассников, которые считали его странным, и одиноких вечеров, когда за окном слышался гул города. Но только в этой тишине он мог дышать полной грудью. Или, по крайней мере, делать вид.

Сегодня тишина предала его: она не смогла защитить его от врага, который притаился внутри него самого.

Его пальцы сжимали карандаш НВ с такой силой, что тонкое дерево вот-вот было готово треснуть. Перед ним на табурете, освещённое мягким светом из высокого окна, лежало яблоко. Самый обычный плод, купленный в соседнем супермаркете. Сорт «Гала», кажется, с нежным малиновым румянцем на боку и едва заметной вмятиной у черенка. Домашнее задание по искусству звучало как насмешка: «Этюд натуры. Передача объема и фактуры».

Когда-то, в совсем другой жизни, он нарисовал бы его за пять минут, не задумываясь. В семь лет он копировал Дюрера, а в девять — писал маслом натюрморты, от которых преподаватели не могли сдержать слёз. Его называли вундеркиндом, будущим великим мастером. Теперь, в семнадцать, он с ужасом смотрел на чистый лист ватмана, чувствуя, как ладони покрываются холодным потом.

— Просто начни, — уговаривал он себя, и от звука этого жалкого внутреннего голоса становилось еще страшнее. — Всего одна линия. Просто контур.

Он выдохнул и провёл линию. Она вышла неуверенной, будто колебалась вместе с ним. В груди что-то шевельнулось — холодное, тяжёлое. Он знал это чувство: оно приходило всегда, когда ему нужно было быть безупречным. Безупречность больше не была целью. Она стала клеткой, где он видел только себя — и то, что в нём треснуло.

В груди что-то холодное и тяжёлое шевельнулось, потянулось к горлу. Знакомое чувство — предвестник бури.

— Нет, нет, только не сейчас, — панически подумал он. — Ну пожалуйста!

Он отложил карандаш, встал и подошёл к окну, делая вид, что изучает падающий свет. Он пытался отдышаться, отогнать накатывающую волну паники. За окном лежал Зальцбург — его родной и бесконечно далекий город. Прямо напротив, на зеленом склоне, высилась крепость Хоэнзальцбург — серая и незыблемая, символ порядка и прочности. Её стены не дрожали от страха перед чистым листом бумаги. В её каменной груди не поселился ледяной червь сомнений.

Он увидел в стекле своё отражение — бледное лицо семнадцатилетнего юноши, выглядевшего на все двадцать пять: чёткие линии, прямой нос, тонкие губы. И только в глазах, этих серо-голубых, слишком серьёзных глазах, плескался немой ужас.

— Почему? — застонал изнутри другой, маленький и испуганный голос. — Это же просто яблоко. Дети рисуют яблоки в детском саду. Почему я не могу? Почему?

Он знал ответ: потому что это не было «просто яблоко». Каждый штрих на этом листе был бы сравнением с ним самим — тем, прежним, гениальным мальчиком, чьи работы вешали в холле школы. С ожиданиями отца, который до сих пор, спустя три года творческого затишья, смотрел на него с немим вопросом: «Когда ты снова начнёшь?». С призраком матери, ушедшей из семьи, когда он больше не мог соответствовать её непомерным стандартам. «Ты словно стал роботом! — кричала она тогда. — Я хотела вырастить творца!» Её уход стал самой болезненной раной, которая не заживала до сих пор.

Каждая линия должна была быть безукоризненной. Каждый штрих — идеальным. Безупречность была для него не целью, а тюрьмой: камерой с зеркальными стенами, где он видел лишь свое искажённое отражение.

Он глубоко вздохнул, пытаясь вернуть контроль, и вернулся к мольберту. Дрожь в руках усилилась. Он снова взял карандаш, и тут его накрыло по-настоящему.

Сперва онемели кончики пальцев. Ощущение, будто они превратились в чужие, деревянные палки. Потом холодная, липкая волна поползла вверх, к запястьям, предплечьям. Дыхание перехватило. Воздух в комнате вдруг стал густым, вязким, как жидкий мёд, и наотрез отказывался заполнять легкие. Сердце заколотилось в грудной клетке с такой силой, что ему показалось, оно вот-вот выпрыгнет через горло. Бешеный, хаотичный ритм отдавался глухими ударами в висках. Комната поплыла. Края мольберта, яблока, стола — потеряли чёткость, стали размытыми, нереальными.

Дыхание... не получается... Господи, я сейчас задохнусь... — панически забежали по сознанию обрывочные мысли. Почему я не могу просто дышать? Почему я не могу просто нарисовать это проклятое яблоко? Я же могу! Я же мог раньше!

Он отшатнулся от мольберта, задев локтем металлическую банку с дорогими колонковыми кистями. Банка с оглушительным, невыносимым грохотом покатилась по паркетному полу, рассыпая безупречно вымытые, отсортированные по номерам кисти. Звук был ужасающим, окончательно разрушающим хрупкую тишину. Но ему было все равно. Единственной реальностью стала всепоглощающая паника, которая сжимала его горло стальными тисками, выжимая из него последние остатки воздуха и воли.

Он рухнул на колени, упёршись ладонями в прохладный, отполированный паркет. Слезы подступали к глазам, жгли веки, но он с яростью слотнул их. Плакать было нельзя. Это было бы признанием полного поражения, краха. Это значило бы, что он сломался окончательно.

Надо успокоиться. Надо... Надо навести порядок. Порядок — это безопасно.

Его взгляд, затуманенный паникой, упал на стол. На ту самую безупречную линейку карандашей от 9Н, твердого и светлого, как утренний иней, до 8В, мягкого и бархатисто-чер-

ного, как полночь. Строй был разрушен. Падением банки, его собственным неловким движением — неважно. Хаос вторгся и сюда. Один карандаш, 2В, лежал поперек своих собратьев, как упавшее дерево на идеально подстриженном газоне.

Спасительный ритуал. В нем был порядок. В нем была безопасность. В нем был смысл.

Он не встал. Он подполз к столу на коленях, как раб, приближающийся к алтарю. Его дыхание всё еще было прерывистым, сердце колотилось, но теперь у него была цель. Он протянул дрожащую руку и взял первый карандаш. Тот самый, 2В.

— Угол девяносто градусов, — его губы беззвучно шевелились. Это была не аналитическая констатация, а молитва, заклинание, выученное в детстве, когда мир состоял только из линий, красок и одобрения взрослых. Идеальный порядок. Порядок — это контроль. Контроль — это безопасно. Безопасно. Порядок. Контроль.

Он повторял это снова и снова, как будто от количества повторений зависела его жизнь. Он клал карандаш на его законное место, выверяя положение миллиметр за миллиметром. Затем взял следующий. И следующий. Он не просто возвращал их в строй, но возводил стену против хаоса, который рвался изнутри. Его пальцы, постепенно, начали слушаться. Дрожь понемногу отступала, сменяясь знакомым, твердым ощущением дерева и графита. Дыхание выравнивалось, подстраиваясь под ритм его монотонных действий. Ударение на слове «безопасно» совпадало с выдохом.

Таким его и застал отец.

Фридрих Фогель не постучал, он никогда не стучал. Дверь в комнату сына открылась бесшумно, и он замер на пороге, заполнив собой весь проём. Его крупная, некогда мощная фигура архитектора привыкла носить строгие костюмы и нести ответственность за тысячи тонн бетона и стали. Но сейчас она казалась ссутулившейся под невидимым, но тяжелым грузом. Он видел всё: он видел сына, сидящего на полу среди разбросанных, как после бомбёжки, кистей; он видел его бледное, влажное от пота лицо с диким, невидящим взглядом, устремленным в пустоту; он видел его губы, беззвучно шепчущие что-то о порядке. И он видел на мольберте тот самый жалкий, дрожащий, полный отчаяния набросок яблока.

Их взгляды встретились на одну-единственную, вечную секунду. В глазах Себастьяна — панический стыд и желание провалиться сквозь землю чтобы исчезнуть. В глазах Фридриха — мгновенная, острая, как удар ножа, боль, которую он тут же, с усилием, видимым лишь ему самому, погасил, натянув на лицо привычную, непроницаемую маску. Маску человека, который имеет дело только с незыблемыми формами, чертежами и расчётами. Маску, за которой можно было спрятать собственную растерянность, вину и страх.

— Ужин через двадцать минут, — произнес он ровным, глуховатым голосом, в котором не дрогнул ни один звук. Он не спросил «Что случилось?». Не произнес «Я помогу». Не сделал и шага вперед, не положил руку на плечо. Он просто констатировал факт, как будто застав сына за решением задач по теоретической механике.

Себастьян, всё еще сидя на полу, кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Его горло было всё ещё сжато.

Фридрих развернулся с военной выправкой и вышел, так же бесшумно притворив дверь. Его тяжёлые, размеренные шаги медленно затихли в глубине коридора.

Себастьян остался сидеть на полу. Дрожь постепенно уходила, оставляя после себя не тепло, а леденящую, тоскливую пустоту, будто из него вынули все внутренности и набили ватой. Он медленно поднял голову и снова посмотрел на свой рисунок. Теперь, через призму отступившей паники, он видел его с пугающей, беспощадной ясностью: это был не просто плохой, неудачный рисунок, скорее это был крик. Немой, отчаянный крик о помощи, написанный дрожащей рукой на языке линий и штрихов. Крик, который никто, включая его самого, не мог ни услышать, ни расшифровать.

Он медленно, как глубокий старик, поднялся на ноги. Ноги были ватными и не слушались. Он подошел к столу и взял в руки последний, оставшийся не на своем месте карандаш — 4Н, твёрдый и негибачаемый. Он положил его на идеально отмеренное расстояние от края, завершив ритуал.

— Всё на месте, — тихо, почти беззвучно, прошептал он в гробовой тишине комнаты. — Всё хорошо.

Но это была самая большая ложь, которую он когда-либо говорил самому себе. И он, и его отец, молча, не глядя друг на друга, сидевшие за ужином ровно через двадцать минут, оба это знали. Его система работала всё хуже: она дала глубокую, фундаментальную трещину. И обычное яблоко, лежавшее сейчас в вазе на кухне, стало тому неоспоримым доказательством.

Глава 2: Уличный скетч

Шум школьного двора обрушился на Себастьяна, едва он переступил главные ворота. Это был не просто гул голосов — скорее физическое явление, волна давления, сотрясающая воздух. Громкий смех, перекрикивания, лязг роликов, навязчивый бас из чьего-то CD-плеера, визг тормозов у велопарковки — всё это сливалось в бесформенный, оглушительный, пронизывающий хаос.

Он замер на мгновение, чувствуя, как привычная защитная оболочка, которую он так тщательно выстраивал по дороге, дала трещину. Его пальцы непроизвольно сжали ремень рюкзака, и он мысленно представил себе тишину своей комнаты, ровный ряд карандашей на столе, холодную поверхность паркета под коленями. Успокаивающий порядок и контроль.

Он двинулся вдоль стены главного здания, стараясь держаться в тени, подальше от самых оживленных потоков студентов. Его взгляд, привыкший анализировать и раскладывать на составляющие, скользил по группам одноклассников, но не задерживался на них. Он видел не людей, а потенциальные источники непредсказуемости. Вот группа с художественного отделения яростно спорит о чём-то, жестикулируя — эмоциональная буря, лучше держаться от них подальше. Вон кто-то из младших курсов гоняет на скейте — неконтролируемое движение, опасность столкновения.

— Себс! Эй, Фогель! Земля вызывают космонавта!

Томас — единственный человек, чье вторжение в его личное пространство Себастьян терпел. Возможно, потому, что Томас был таким же постоянным и предсказуемым в своем непредсказуемом юморе, как восход солнца. Он подскочил к нему, взъерошенный и полный энергии, в своей серой худи.

— Привет, Томас, — нейтрально ответил Себастьян, не останавливаясь.

— Слушай, я вчера видел передачу про голубей, — Томас, не дожидаясь ответа, начал свой утренний брифинг, шагая рядом. — Там учёный, с полным серьёзом, с приборчиками, изучал, как они воркуют. Представляешь? У них целая система коммуникации! Я теперь смотрю на этих пернатых жителей нашего двора и вижу не стаю, а парламент. Вот смотри, — он кивнул в сторону пары птиц, деловито клевавших крошки. — Видишь, тот, что с серым пятном на хвосте? Он явно вносит предложение о расширении кормовой базы в сторону столовой. А этот, потолще, — он напротив, консерватор, считает, что традиционные крошки у входа — это проверенный временем ресурс.

Себастьян машинально взглянул на голубей. В обычный день его мозг, возможно, выдал бы сухую реплику об инстинктах и иерархии. Но сегодня, после вчерашнего приступа, после той унижительной слабости на полу собственной комнаты, даже эта простейшая аналитическая операция давалась с трудом. Внутри всё ещё зияла пустота, и сквозь неё прорывались обрывки вчерашнего стыда.

— Да едят они просто, — тихо буркнул он, и его собственный голос прозвучал для него устало и отстраненно.

Томас фыркнул, но не стал настаивать.

— Ну ладно, забыли. Слушай, ты в курсе, что к нам на обмен приехала француженка? Говорят, аж из Лиона — города сыра и света, как они его называют. Интересно, она и пахнет как сыр?

Себастьян не ответил, т.к. его внимание, обычно столь дисциплинированное, вдруг было захвачено чем-то на другом конце двора. Возле старой, оштукатуренной стены, обычно пустующей, собралась небольшая кучка студентов. И в центре этого маленького амфитеатра что-то происходило. Что-то... яркое, движущееся и нарушающее привычный ему порядок.

Он остановился как вкопанный, не обращая внимания на удивленный взгляд Томаса, ведь там, у стены, танцевала девушка.

Нет, не так, это был не совсем танец в привычном понимании. Это было какое-то абсолютно естественное, почти детское выражение радости. Её тело двигалось под какую-то свою, внутреннюю, неслышимую ни для кого мелодию. Плавно, немного неуклюже, но с такой искренней, заразной свободой, что у Себастьяна на мгновение почему-то перехватило дыхание. Она была одета в цветастое платье, поверх наброшена джинсовая жилетка с множеством нашивок. Кудрявые каштановые волосы были собраны в беспорядочный пучок, из которого выбивались пряди. В одной руке она сжимала коробку мелков, в другой — кусок ярко-жёлтого мела, которым она на ходу проводила линии по асфальту.

В какой-то момент, когда она наклонилась, чтобы провести новую линию, её рука на мгновение дрогнула. Она остановилась, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, потом улыбнулась — самой себе — и, словно ничего не случилось, продолжила. И она рисовала, но совсем не так, как учили их: не с выверенной композицией, не с построением, не с оглядкой на каноны. Нет, она изливала на серый, унылый асфальт целую симфонию цвета.

Себастьян, не отдавая себе отчёт, сделал несколько шагов вперед. Он встал в нескольких метрах от неё, его пальцы разжали ремень рюкзака. Он смотрел, загипнотизированный, чувствуя что-то странное в груди — что-то тёплое и тревожное одновременно.

На асфальте рождался Зальцбург, но не стерильный, архитектурный, состоящий из прямых линий и точных углов, нет. То был город, увиденный во сне или в детской сказке: дома на набережной Зальцаха были кривыми, но уютными; река — синей, как чернила, и по ней плыли не точные копии прогулочных корабликов, а лодки-сердечки. Небо было покрашено оранжевыми и сиреневыми полосами, а над крепостью Хоэнзальцбург летели не птицы, а раскрытые книги с крыльями вместо страниц.

Это был не танец, а чистая радость — как будто её тело рисовало воздухом. С технической точки зрения — кошмар: перспектива отсутствовала, цвета спорили друг с другом. Но в этом хаосе было дыхание. Было то, чего он давно не чувствовал — жизнь.

Он не понимал. Его мозг, привыкший все анализировать и раскладывать по полочкам, отказывался обрабатывать этот парадокс. Как нечто столь неправильное, столь далёкое от академических канонов, может быть столь... притягательным? Магнетичным? Он чувствовал, как

что-то в нём, какая-то давно забытая часть, откликается на этот хаос, на эту свободу. И это было так же страшно, как и притягательно.

Она закончила, выпрямилась, отряхнула испачканные мелом руки о платье, оставив на ткани цветные разводы, и обернулась, чтобы полюбоваться своим творением. Её взгляд, большие, карие глаза, в которых смешались озорство и какая-то глубокая, древняя печаль, скользнул по лицам зрителей и... остановился на нём.

Он замер, пойманный на месте преступления. Он стоял, как истукан, с каменным лицом, но внутри у него все оборвалось. Она смотрела на него не так, как смотрят другие: не с любопытством, не с насмешкой и не с опаской, нет. Она смотрела прямо, открыто, как будто видела не его внешнюю оболочку — «вундеркинда Фогеля», «странного парня», «сына знаменитых родителей» — а что-то, что скрывалось глубоко внутри. Как будто она с первого взгляда увидела ту самую трещину, тот стыд и страх, которые он так тщательно скрывал.

И она расплылась широкой, солнечной улыбкой, от которой у неё появились ямочки на щеках и лучики-морщинки в уголках глаз. Улыбкой, которая, казалось, была предназначена только ему одному.

Потом она сделала несколько шагов в его сторону. Она двигалась легко, пружинисто, будто не шла по асфальту, а парила на несколько сантиметров над ним. Она остановилась перед ним, запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в лицо (он был значительно выше), и её взгляд упал на его руки — чистые, с идеально подстриженными ногтями, без единого пятнышка.

— Привет, — сказала она. Её голос был немного низким, хрипловатым, и в нем чувствовался легкий, мелодичный французский акцент. — Ты выглядишь так, будто никогда в жизни не пачкал рук.

Себастьян оторопел. Его внутренний монолог, обычно такой чёткий, превратился в хаотичный набор обрывков фраз. Не пачкал рук... Это неверно, я использую средства защиты... Гигиена всё таки важна... Почему она смотрит именно на руки?

Она протянула ему ярко-жёлтый мелок. Действие было настолько простым и в то же время настолько немыслимым, что его сознание на мгновение отключилось. Он увидел её руку — испачканную цветными пятнами, с коротко остриженными ногтями, живую и такую настоящую. А потом посмотрел на свою — стерильную, белую, пальцы которой всего несколько часов назад судорожно сжимали карандаш в приступе паники.

— Хочешь попробовать? — спросила она, и в её глазах плескалось настоящее, ничем не прикрытое любопытство.

Себастьян отшатнулся, как будто она предложила ему раскаленный уголь. Весь его организм, вся его выстроенная система защит, восстала против этого предложения. Беспорядок, хаос, грязь, непредсказуемость — всё, чего он так боялся. Всё, что могло спровоцировать новый приступ.

— Нет, — выдавил он наконец, и его собственный голос прозвучал для него чужим и скрипучим, полным той самой паники, которую он пытался скрыть. — Спасибо. Я... мне не надо.

Она не выглядела обиженной и не насупилась, как он ожидал. Она лишь слегка склонила голову набок, словно изучая редкий, незнакомый экспонат в музее, и улыбка её стала чуть более задумчивой, но не исчезла.

— Жаль, — сказала она просто. — Это весело. Меня, кстати, Ноэми зовут. Ноэми Леруа.

Он судорожно кивнул, не в силах произнести ничего в ответ, развернулся и почти бегом пошел прочь, к школьному входу, оставив её стоять с мелом в руке на фоне её безумного, цветного города. Он чувствовал на своей спине её взгляд, и этот взгляд прожигал его насквозь, добираясь до самых потаённых, самых уязвимых уголков его души. И он проклинал себя за то, что так грубо поступил с ней: «Да что со мной не так! Она наверняка пожалела, что окликнула странного парня вроде меня.»

Томас, наблюдавший за всей сценой с открытым ртом, догнал его на ступенях.

— Вау, Себс! — прошептал он, впечатлённо присвистнув. — Это же она — та француженка! И она... она с тобой заговорила! Уф, ты видел эти глаза? Она как... как картина в музее, понимаешь о чём я? Только вживую!

Себастьян ничего не ответил. Он лишь сжал ремень рюкзака так, что костяшки пальцев побелели. В ушах у него стоял звон, а в груди, там, где обычно была ледяная пустота, теперь что-то маленькое и тёплое, но одновременно и пугающее, упрямо стучалось, как мотылек в стеклянную банку. Он не понимал, что это было, но он точно знал, что его система, только что восстановленная с таким трудом, снова дала глубокий, фундаментальный сбой. И на этот раз причиной было не яблоко, а хрупкая девочка с кудрями цвета каштана, руками, испачканными в меле, и взглядом, который, казалось, видел его насквозь.

Глава 3: Призраки атриума

Звонок с урока искусства прозвучал для Себастьяна спасительным колоколом. Он мгновенно собрал свои вещи — учебники, пенал с идеально отточенными карандашами, блокнот с чистыми, нетронутыми страницами — и направился к выходу, не поднимая головы, стараясь опередить толпу. Бегство было отработанным до автоматизма ритуалом: избежать толкучки в коридоре, случайных прикосновений или необходимости с кем-то говорить. Просто добраться до следующей аудитории, занять место у окна и переждать перемену в относительной тишине.

Но сегодня его планам не суждено было сбыться.

— Фогель, задержись на минуту, пожалуйста.

Голос преподавательницы искусств, фрау Хубер, прозвучал мягко, но в её тоне слышалась та самая преподавательская сталь, что не допускала возражений. Себастьян замер у самой двери, чувствуя, как на спине словно разбилось холодное яйцо. Он кивнул, не поворачиваясь, и отошел к большому окну, выходящему во внутренний двор, пока одноклассники, переговариваясь и смеясь, выплескивались потоком в коридор. Он видел, как мимо него промелькнула рыжая девчонка с мольбертом, задев его плечом и бросив на ходу: «Извини!» — он инстинктивно отпрянул. Видел, как двое парней из его класса что-то оживленно обсуждали, размахивая руками, и он невольно подумал: «Неструктурированная коммуникация. Энергозатратно и неэффективно».

Последней выходила Ноэми. Она не спешила, задерживаясь у своей парты, и её взгляд скользнул по нему — быстрый, любопытный, словно пытающийся что-то прочесть на его каменном лице. На мгновение их глаза встретились, и он снова почувствовал то же странное, согревающее касание, что и вчера во дворе. Затем она улыбнулась — не ему, а просто так, солнцу за окном — и выпорхнула за дверь. Дверь захлопнулась, и в просторном, залитом светом классе воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем настенных часов и отдаленным гулом из коридора.

Фрау Хубер негромко вздохнула и подошла к нему, отложив в сторону стопку домашних работ. Её лицо, обычно оживленное и энергичное во время лекций, сейчас выглядело усталым и серьезным.

— Садись, Себастьян, — сказала она, указывая на ближайший стул.

Он медленно опустился на стул, поставив рюкзак на пол рядом с собой, точно выравнивая его параллельно ножке стола. Действие было автоматическим и потому успокаивающим.

— Как ты? — её вопрос прозвучал хоть и деловито, но с особенными нотками в голосе, указывающими что это не просто формальность.

— В порядке, — на автомате пробубнил Себастьян, глядя куда-то мимо её плеча, на гипсовую голову Аполлона в углу класса. Безупречный, холодный, лишённый души профиль. Таким, наверное, и он сам выглядел со стороны.

— Я спрашиваю не как преподаватель, Себастьян. Я спрашиваю как человек, который помнит твои работы в девять лет, — она помолчала, давая словам улечься. Её взгляд был внимательным и — что было хуже всего — понимающим. — Ты не сдал ни одного эскиза за последний месяц и ни одного наброска. Объяснишь мне, что происходит?

А что он мог сказать? Сказать, что каждый чистый лист бумаги вызывает у него тошноту? Что его пальцы немеют, а в груди сжимается ледяной ком, стоит ему только подумать о том, чтобы провести линию? Что он ненавидит искусство, ненавидит кисти, краски и карандаши, ненавидит ту часть себя, которая когда-то всем этим жила? Что его мать, знаменитая Анна Фогель, с детства внушала ему, что техника — для ремесленников, а истинный художник должен выражать душу? И что теперь он, зажатый между её требованием «творить» и отцовским «совершенствовать технику», разорван на части и не может сделать ни того, ни другого?

— Творческий кризис, — выдавил он наконец, подбирая самое безопасное, самое банальное определение. Слово-пустышка, за которым можно было спрятать всё.

Фрау Хубер медленно покачала головой.

— Кризисы бывают у всех. У меня бывают или у твоих одноклассников. Но у тебя... — она сделала паузу, подбирая слова. — Я вижу не отсутствие идей, Себастьян. Это что-то другое.

Он молчал, сжав зубы до предела. Ему не нравилось в какую сторону шёл этот разговор, и от этого становилось невыносимо. Какое право она имеет своими словами вскрывать нарыв, который он долгие годы учился игнорировать?

— Послушай, — её голос стал тише, почти заговорщицким. Она села на соседний стул, повернувшись к нему. — Через две недели объявят о ежегодном школьном конкурсе. Тема в этом году — «Контрасты». И я хочу, чтобы ты подумал об участии.

Себастьян резко поднял на неё глаза, и в них мелькнул неподдельный ужас.

— Нет, — вырвалось у него куда более резко и громко, чем он планировал, эхом отозвавшись в тихом классе.

— Почему? — настаивала она мягко, но неумолимо.

— Я не могу.

— Ты не хочешь, — поправила она. Её взгляд был полон не упрека, а какой-то странной, печальной нежности. — И я кажется понимаю почему. Бремя таланта... оно может быть невыносимым. Особенно когда его возводят в абсолют, когда на него вешают ярлыки, когда от него ждут не развития, а постоянного повторения прошлых успехов.

И снова разговоры о его матери! Все всегда, в конце концов, начинали говорить о его матери. Анна Фогель, знаменитая абстракционистка, чьи эмоциональные, хаотичные работы висели в престижных галереях Вены и Берлина. Женщина, для которой не существовало полутонов — только гениальность или бездарность. Именно она с раннего детства твердила ему:

«Забудь про эти скучные техники, Себастьян! Искусство — это порыв! Это душа, выплеснутая на холст!». А когда он, под давлением отца-архитектора, человека порядка и точности, увлекся гиперреализмом, добиваясь в своих работах фотографической точности, она назвала его предателем, «роботом-копиистом», и ушла из семьи. Её призрак витал в этом кабинете искусств, как и повсюду в его жизни. Её уход стал самой болезненной раной, которая не заживала до сих пор, и каждый карандаш, каждый лист бумаги напоминал ему о ней.

— Подумай, — настаивала фрау Хубер, словно бросая ему спасательный круг. — Это могло бы помочь тебе... выйти из тупика. Прошу тебя, сделай это не ради возможной победы, но ради себя.

Он так и не нашёл слов для ответа, лишь молча кивнул, встал, поднял свой идеально упакованный рюкзак и почти выбежал из кабинета, опустив голову, чувствуя, как по телу разливается знакомая, унижительная слабость. Конкурс, соперники, оценки, призрак матери — всё смешалось в один плотный, душливый спазм в горле. Он почти бежал по коридору, не видя ничего перед собой, пока не оказался в главном атриуме школы.

Просторное, светлое помещение с высоким стеклянным потолком обычно было для него относительно безопасным местом. Здесь можно было затеряться, стоя у стены, наблюдая за людьми, не вступая в контакт. Но сегодня его мир, и без треснувший по швам, окончательно рухнул именно здесь.

У дальней стены, прислонившись к мраморной колонне, стоял Юлиан Хоффманн — высокий, стройный, с ухоженной внешностью и насмешливым прищуром. Он был одет с небрежной элегантностью — тёмные джинсы, свободная белая рубашка с закатанными до локтей рукавами, на шее — тонкий кожаный шнурок с каким-то серебряным амулетом. А напротив, у стены с витриной, где выставлялись работы победителей прошлых конкурсов, стояла Зофия Ковальски — миниатюрная блондинка в простом сером платье, её лицо обычно ничего не выражало, но Себастьян по опыту знал, что её редкие, тихие замечания могли быть острее бритвы.

Их взгляды встретились с взглядом Себастьяна практически одновременно. В воздухе атриума повисло напряжение, густое, почти осязаемое, словно перед грозой. Прошное накрыло его с головой — не абстрактными воспоминаниями, а живой, незажившей раной, которую кто-то безжалостно сорвал.

Он видел их перед собой — только не семнадцатилетних, а одиннадцатилетних. Они стояли в таком же зале, только в другой школе, на другом, региональном конкурсе юных дарований. Маленький Юлиан, сжав кулаки, с немой, пожирающей ненавистью смотрел на него, только что получившего Гран-при за свою безупречную копию натюрморта голландского мастера. А Зофия, тогда еще пухлая девочка с накрахмаленными бантами, с завистью и почти религиозным обожанием взидала на его работу. Он вспомнил тот конкурс: мать стояла рядом, сияя, сжимая его плечо так, будто могла передать ему свою гордость, а отец — чуть поодаль, с руками на груди. В его взгляде не было ни гордости, ни разочарования — только усталое знание. И между ними, тогда ещё мальчик, он уже чувствовал себя разделённым пополам.

И вот они снова здесь. Призраки его прошлых триумфов и его нынешнего поражения.

Юлиан оттолкнулся от колонны и медленно, с хищной грацией направился к нему. Зофия не двинулась с места, но её тонкие, почти прозрачные пальцы потянулись к старому серебряному медальону на шее — её привычка, когда она нервничала или была глубоко задумчива. Её внимательный, серый взгляд был прикован к нему.

— Фогель, — голос Юлиана был ровным, почти любезным, но под этой оболочкой слышалась закаленная сталь. — Давно не виделись. Ходят слухи, что ты... больше не рисуешь, а занялся чем-то более приземленным.

Себастьян молчал, чувствуя, как по спине бегут мурашки, а ладони становятся влажными. Он пытался найти внутри себя хоть какую-то опору, тот самый внутренний стержень, который помогал ему в детстве выдерживать любые конкурсы, но нашёл лишь зияющее, холодное ничто.

— Что случилось? — Юлиан окинул его насмешливым взглядом с ног до головы, оценивая его строгую рубашку, идеально заправленную в брюки, его безупречную, но безжизненную внешность. — Твой внутренний компас сломался? Перестал показывать на север идеальной техники? Или ты просто понял, что быть живым калькулятором, перемалывающим реальность в безупречные, но бездушные линии, — в конечном итоге... скучно?

— Оставь его, Юлиан, — тихо, но с неожиданной твердостью произнесла Зофия, не отрывая взгляда от витрины, где среди прочих стоял небольшой серебряный кубок с гравировкой «Себастьян Фогель, 11 лет».

— Почему это я должен его оставить? — Юлиан повернулся к ней, разводя руками с преувеличенным недоумением. — Мы же старые друзья, верно, Фогель? Мы выросли на одних и тех же конкурсах, дышали одним воздухом, состоящим из лака для волос и запаха масляных красок. Я все эти годы ждал, когда мы снова сойдемся в честном бою. Когда я наконец-то смогу тебя победить. А ты... — он снова повернулся к Себастьяну, и в его глазах вспыхнул настоящий, неподдельный гнев. — Ты взял и... сдался, просто испарился. Это неспортивно. И не по-джентльменски.

Честный бой — ну и горькая же ирония. Для Юлиана все это всегда было игрой, увлекательным соревнованием, спортом. Для него же, Себастьяна, каждое участие в конкурсе, каждый штрих на бумаге был вопросом жизни и смерти. Вопросом одобрения, любви и попыткой хоть как-то примирить в себе два враждующих начала — требовательного, педантичного отца и мятежную, хаотичную мать. Искусство было для него не игрой, а полем битвы, на котором он в итоге проиграл всё.

— Я не собираюсь участвовать в конкурсе, — хрипло сказал Себастьян, и его собственный голос прозвучал чужим, проржавевшим от долгого молчания.

Юлиан замер, и насмешка на его лице сменилась неподдельным, почти комическим изумлением, а за ним — странным разочарованием, будто у него вырвали из рук долгожданный приз. «Что?» — это прозвучало как выстрел.

— Я сказал, не собираюсь, — повторил Себастьян, глядя куда-то в пространство между Юлианом и Зофией. Ему было стыдно: за свою слабость и за этот страх, который был так очевиден для них обоих.

Наступила тяжелая, давящая пауза. Юлиан изучал его, и в его глазах что-то менялось — исчезала злорадность, появлялось недоумение, даже какая-то растерянность. Он, как и фрау Хубер, видел не лень и не отсутствие интереса, а нечто гораздо более глубокое.

— Но... тогда зачем ты здесь? — спросил он наконец, и его голос впервые зазвучал искренне. Он обвел рукой просторный атриум, всю школу в целом. — В этой, с позволения сказать, художественной гимназии? Если ты не собираешься больше... это делать?

Себастьян не нашелся что ответить. Да он и сам не знал зачем он здесь. По инерции? Привычка к этому распорядку? Боязнь перемен? Нежелание признать окончательное поражение и поставить крест на той части себя, которая когда-то была «вундеркиндом Фогелем»? Возможно, всё это вместе.

В этот момент дверь в атриум с шумом распахнулась, и ворвалась Ноэми, запыхавшаяся, с развевающимися каштановыми кудрями. Она выглядела как вихрь жизни и цвета в этом мраморном, строгом пространстве.

— Фрау Хубер сказала, ты тут... — начала она и резко замолкла, окинув взглядом напряженную сцену. Её большие, карие глаза, умные и проницательные, скользнули по бледному, застывшему лицу Себастьяна, по насмешливому, но сбитому с толку Юлиану, по молчаливой, наблюдающей Зофии. И, кажется, что она всё поняла без единого слова. Её лицо стало серьезным. — О, извините. Я, кажется, помешала старой... встрече одноклассников? — в её голосе не было иронии, лишь лёгкая осторожность.

Юлиан, отвлеченный её появлением, окончательно стушевался. Он окинул Ноэми оценивающим, быстрым взглядом — с головы до ног, задержавшись на её разноцветных кроссовках и жилетке с вышитыми цветами, затем снова перевёл его на Себастьяна, и на его лице появилась новая, хитрая, понимающая улыбка.

— Ясно, — протянул он многозначительно, делая ударение на этом слове. — Значит, у Фогеля появились новые... интересы. Отвлёкся от высокого искусства. Ну что ж, — он снова посмотрел на Ноэми, и в его взгляде мелькнуло что-то вроде любопытства. — Тем интереснее будет, я думаю.

Он кивнул Зофии, и они вместе, не сказав больше ни слова, вышли из атриума. Зофия на прощание бросила на Себастьяна быстрый, пронзительный взгляд — в нём уже не было детской зависти или злорадства, а было что-то гораздо более сложное: понимание? Или сожаление? Может быть даже сочувствие? Этот взгляд пронзил его острее, чем все насмешки Юлиана.

Когда их шаги затихли в коридоре, Себастьян почувствовал, как его колени подкашиваются. Он прислонился к прохладной мраморной стене, пытаясь унять предательскую дрожь в руках и выровнять сбившееся дыхание.

— Друзья? — с надеждой спросила Ноэми, мягко подходя ближе. Её голос был спокоен, без тени иронии или осуждения.

— Соперники, — поправил он, глядя в пол, на идеально отполированные плитки. — Из прошлой жизни, которая, кажется, всё никак не уймётся и не оставит меня в покое.

— Выглядело так, будто тебя только что вызвали на дуэль, — серьёзно заметила она, скрестив руки на груди. — А ты даже шпаги не достал и стоял безоружный.

— А у меня ее и нет, — пробормотал он, и в этих словах была горькая правда. Его оружие — его талант, его техника — обратилось против него и стало его тюрьмой.

— У каждого есть своя шпага, Себастьян, — сказала она тихо, почти шепотом. — Просто не все умеют ею пользоваться или боятся уколоться.

Она посмотрела на ту самую витрину с кубками, где среди прочих стоял и его, маленький, сияющий, датированный семью годами ранее. Потом её взгляд, тяжёлый и внимательный, вернулся к нему — живому, дрожащему, напуганному семнадцатилетнему парню, застрявшему в тени своего же одиннадцатилетнего «я».

— Призраки прошлого, значит? — спросила она. В её голосе прозвучала такая глубокая, бездонная эмпатия, что у него внутри что-то обрывалось, какая-то важная струна натянулась до предела и ныла.

Он лишь молча кивнул, не в силах выдавить из себя ни слова. Слова в который раз за день отказывались покидать его сухое горло.

— Знаешь, — сказала Ноэми, подходя так близко, что он почувствовал легкий, едва уловимый запах акварельных красок, скипидара и чего-то сладкого, возможно, персикового шампуня. — Иногда от призраков нужно не убегать, им нужно посмотреть прямо в глаза. Встать напротив и долго-долго смотреть, чтобы понять, что они всего лишь тени, блеклые копии прошлого. А тени, — она сделала паузу, глядя ему прямо в глаза, — не могут сделать тебе больно, если ты не боишься их.

Она медленно, почти ритуально, протянула руку и на секунду, всего на одно короткое мгновение, легонько коснулась его пальцев — того самого места, где всего несколько часов назад он судорожно сжимал карандаш в пустом классе. Прикосновение было быстрым, лёгким, как порыв ветра, почти невесомым, но от него по всей его руке, а потом и по всему телу разлилось странное, согревающее, тревожное тепло. Оно было таким же ярким и неожиданным, как её рисунки на асфальте.

— До завтра, Себастьян, — сказала она, и её улыбка снова стала солнечной и беззаботной, словно только что не было этой тяжелой сцены с призраками прошлого. Она развернулась и вышла из атриума, оставив его одного с его демонами, с его страхами, и с этим новым, непонятным, пугающим и таким желанным теплом на кончиках пальцев.

Он остался стоять у стены, глядя на свой старый кубок за стеклом — блестящий, холодный, бездушный, идеальный символ его прошлого, его «успеха», который в итоге привел его к этому — к стене, к дрожи в руках, к страху перед чистым листом. И вдруг, глядя на дверь, в которую только что вышла Ноэми, он с абсолютной, кристальной ясностью осознал, что Юлиан был прав: он сдался. Он капитулировал перед собственным талантом, перед ожиданиями, перед страхом несоответствия.

Но глядя на ту дверь, чувствуя на своей коже призрачное, теплое эхо ее прикосновения, он впервые за долгие, долгие годы почувствовал смутную, почти неуловимую, но упрямую надежду, что, возможно, капитуляция — это ещё не конец, а начало чего-то нового. Какого-то другого пути. И от этой мысли стало одновременно невыносимо страшно и... невыносимо любопытно? Как будто кто-то распахнул окно в душной, наглухо запертой комнате, и внутрь ворвался свежий, прохладный ветер с запахом далёкого, незнакомого, но такого манящего моря.

Глава 4: Первый сеанс

Последний звонок ещё долго звенел в ушах Себастьяна, не достигая сознания. Он просидел весь оставшийся день в состоянии отстранённой оцепенелости, механически записывая лекции, но не слыша ни слова. Слова фрау Хубер, появление Юлиана и Зофии, прикосновение Ноэми — все это смешалось в голове в один сплошной, оглушительный гул. Ему нужно было куда-то сбежать. К примеру, сбежать в единственное место, где он мог спрятаться, — в пустую художественную мастерскую после уроков.

Он шёл по пустынным коридорам, прижимая к груди папку с пустыми листами, и его шаги гулко отдавались под высокими сводчатыми потолками. Школа, полная днём шума и суеты, теперь напоминала гигантскую гробницу. И он был её единственным обитателем.

Мастерская находилась в самом конце коридора на третьем этаже. Он зашёл внутрь, щёлкнул выключателем, и под потолком зажглись несколько люминесцентных ламп, их холодный свет выхватывал из полумрака знакомые очертания: ряды мольбертов, гипсовые слепки, стеллажи с гипсами, столы, заляпанные краской. Пахло скипидаром, масляной краской и пылью. Когда-то этот запах был для него самым желанным в мире, но сейчас он вызывал лишь тошнотворную тревогу.

Он прошёл к своему привычному месту в самом углу, у окна, выходящего на внутренний двор — здесь его никто не найдёт и не увидит. Он поставил папку на табурет, откинул крышку и устался на верхний, идеально чистый лист ватмана. Задание то же — «Этюд натуры. Передача объема и фактуры». На столе перед ним лежало принесенное из дома проклятое яблоко, точь-в-точь такое же, как вчера. Оно казалось ему теперь не безобидным фруктом, а насмешливым, зловещим символом его собственной беспомощности.

— Да просто начни ты уже, — снова зашептал внутренний голос, но теперь он звучал не обнадеживающе, а как будто издевательски.

Он взял карандаш. Рука снова была чужой, деревянной. Он попытался сделать то, что делал всегда в моменты кризиса, — начать с построения: лёгкие, почти невидимые линии, очерчивающие основные геометрические формы. Но сегодня даже они не слушались. Линии выходили кривыми, дрожащими. Он стирал их ластиком, снова проводил, стирал снова, всё более яростно, пока бумага в том месте не начала протираться, становясь шершавой и ворсистой.

— Нет. Нет. Нет.

Знакомый холодок пополз от кончиков пальцев к запястьям. Дыхание стало сбиваться. Он зажмурился, пытаясь отогнать накатывающую панику. Он видел перед собой не яблоко, а насмешливые лица Юлиана и Зофии. Слышал голос фрау Хубер: «Я вижу в тебе страх». Чувствовал на своей коже прикосновение Ноэми — то самое, что всего несколько часов назад согревало, а сейчас, в контексте его провала, жгло как укор.

— Дуэль... а ты даже шпаги не достал...

Он судорожно рванулся к своему рюкзаку, пытаясь найти бутылку с водой, но руки дрожали так сильно, что он уронил её. Пластиковая бутылка с грохотом покатилась по бетонному полу, оставляя за собой мокрый след. Это была последняя капля, обрушившая и так уже шаткую дамбу.

Паника накрыла его с головой, быстрее и яростнее, чем вчера. Воздух вырвался из лёгких. Сердце забило быстро, сбиваясь, как барабан в темноте. Комната поплыла. Он успел ухватиться за край стола, но тот рухнул вместе с ним. Карандаши рассыпались, как стая испуганных птиц. Он стоял на коленях, задыхаясь, и единственное, что слышал — это свой собственный сбой, превращённый в ритм.

И в этот самый момент, когда ему казалось, что темнота на краю зрения вот-вот поглотит его полностью, он услышал тихий скрип открывающейся двери.

Он не видел, кто вошел, лишь слышал осторожные, лёгкие шаги, приближающиеся к нему. Он зажмурился ещё сильнее, обхватив голову локтями и желая лишь одного — исчезнуть, раствориться. Чтобы этот человек, кто бы он ни был, просто ушёл и оставил его умирать от стыда в одиночестве.

Но шаги остановились прямо рядом с ним. И тогда он почувствовал... тепло. Чьё-то присутствие, опустившееся на корточки рядом.

Он рискнул приоткрыть солёные от слёз глаза. Мир был расплывчатым, но её он не узнать не мог — Ноэми. Она сидела на полу рядом с ним, среди разбросанных карандашей и упавшего мольберта. Её лицо было серьезным и спокойным: ни тени испуга, ни паники, ни жалости — лишь безмолвное понимание.

Она не проронила ни слова. Не задавала глупых вопросов вроде «Ты в порядке?». Не пыталась его поднять. Она просто смотрела на него, давая ему время, позволяя ему просто побыть в этом состоянии. Затем Ноэми потянулась к нему рукой, но он судорожно оттолкнул её и она с глухим стуком ударилась затылком о парту сзади. Зачем она пришла? Посмеяться над ним?

Потом, медленно, очень медленно, чтобы не спугнуть, она протянула руку. Но не чтобы дотронуться до его плеча или головы. Она взяла его руку — его холодную, дрожащую, влажную от пота руку — и мягко, но уверенно прижала её к своей груди, к тому месту, где под тонкой тканью платья билось её сердце.

Себастьян замер, потрясённый этим до глубины души. Он почувствовал под своими пальцами плотную ткань платья, а под ней — ритмичные, уверенные удары. Но если бы он прислушался чуть внимательнее, то заметил бы: этот ритм иногда сбивался, будто сердце делало крохотную, едва ощутимую паузу — и только потом находило верный такт. Ноэми, кажется, знала об этом: на секунду её ресницы дрогнули, но она лишь глубже вдохнула и мягко выровняла дыхание. Тук-тук. Тук-тук. Не такое бешеное, как его собственное, а ровное, спокойное, жизнеутверждающее.

— Дыши со мной, Себастьян, — сказала она тихо, и её голос был таким же ровным и спокойным, как биение её сердца. — Вот так. Посмотри на меня.

Он поднял на неё глаза, всё ещё не в силах вымолвить ни слова.

— Четыре секунды вдох, — она медленно, демонстративно вдохнула, и её грудь под его ладонью плавно поднялась. — Задержка на две секунды. И шесть секунд — выдох. Она так же медленно выдохнула.

Он попытался повторить, но у него получился лишь судорожный, рваный вздох.

— Ничего, — успокоила она его. — Попробуй ещё раз. Просто сосредоточься на моём дыхании. На моем сердце. Чувствуешь? Оно никуда не торопится, и твоё — тоже не должно.

Она продолжала держать его руку у своей груди, и это прикосновение было для него спасительным светом в бушующем шторме паники. Он чувствовал ритм её сердца, её дыхание, и постепенно, очень медленно, его собственное тело начало подстраиваться под этот ритм. Дыхание выравнивалось. Бешеный стук в висках начал отступать. Дрожь в руках понемногу стихала. Он просто сидел на полу, на коленях, прижав ладонь к её груди, и дышал, глядя ей в глаза. В её больших, карих глазах не было ни страха, ни безразличия, ни даже простой жалости. В них было понимание и принятие. Принятие его паники, его слабости, его падения. Принятие его такого, какой он есть.

Так они просидели несколько минут, может, пять, а может, десять — время потеряло всякий смысл. В мире существовали только они двое, холодный бетонный пол под коленями, разбросанные карандаши и этот ровный, спасительный ритм её сердца.

Когда дыхание Себастьяна окончательно выровнялось, а слёзы высохли на щеках, он внезапно осознал, что касается молодой девушки в деликатной месте и судорожно попытался отдернуть руку, сгорая от стыда. Но она мягко удержала её.

— Всё хорошо, — сказала она. — Всё в порядке. Просто посиди ещё.

Он сдался, позволив своей руке остаться на месте. Теперь он чувствовал не только биение сердца, но и тепло её кожи, сквозь ткань платья. Это тепло, казалось, проникало прямо в него, размораживая ту ледяную глыбу, что сковывала его изнутри.

— Как... как ты меня нашла? — наконец прошептал он, и его голос был хриплым от напряжения.

Она чуть улыбнулась уголками губ.

— Я видела, как ты сбежал из атриума. И подумала... что тебе может понадобиться компания. Не самая веселая, — она кивнула на окружающий их хаос, — но всё же.

— Ты... ты не испугалась? — он не мог в это поверить.

— Чего? — она удивлённо подняла брови. — Того, что кому-то плохо? Нет. Это нормально — иногда чувствовать себя плохо. Просто... нормально.

Для него это было откровением. В его мире, мире отца-архитектора и матери-художницы, плохо чувствовать себя было непозволительной слабостью. Надо было держать лицо и контролировать себя. Быть идеальным. А если не можешь — проваливай, ты никому не нужен.

А эта девочка, эта француженка с испачканными в меле руками, сидела с ним на грязном полу и говорила, что это «нормально». Он видел, что её воротничок слегка окрасился красным от крови из ушиба, но она не обращала на это внимания.

Он опустил голову, снова чувствуя прилив жгучего стыда, но на этот раз — другого. Не за свою панику, а за то, что позволил ей это видеть. И за то, что причинил ей боль.

— Извини, что ты... это видела и... за это тоже...

Она покачала головой.

— Не извиняйся. Лучше скажи, что это было?

Он молчал, глядя на свои колени.

— Не хочешь — не надо, — быстро сказала она. — Просто... если назвать демона по имени, он иногда становится меньше.

Он глубоко вздохнул, все ещё чувствуя под ладонью её спокойное сердцебиение.

— Паническая атака, я думаю — выдал он наконец. Это был первый раз, когда он произнес это вслух кому-то другому. — Они... они бывают. Когда я пытаюсь... ну, рисовать.

Она кивнула, как будто он сказал что-то совершенно обыденное, вроде «у меня иногда болит голова».

— Понятно, — сказала она просто. Потом её взгляд упал на упавшее яблоко, катившееся по полу. — Из-за него?

Он кивнул.

— Странный враг, — заметила она без тени насмешки. — Круглый и какой-то беззащитный.

Он невольно хмыкнул. Это прозвучало так абсурдно и в то же время так точно.

— Знаешь, что мне помогает, когда я боюсь? — спросила она.

— Что?

— Я представляю, что мой страх — это не монстр, а просто... шарик. Маленький, цветной шарик. Я смотрю на него, а потом мысленно... отпускаю. И он улетает, — она посмотрела на яблоко. — Может, и твой страх перед этим яблоком — он тоже как шарик? Только застрял.

Он смотрел на неё, и постепенно до него начало доходить, что происходит. Она не лечила его словами и не давала советов из учебника по психологии. Она лечила его своим присутствием, своим спокойствием и своим... сердцебиением. Через тактильный контакт, которого он так избегал, она доносила до него то, что нельзя было выразить словами: «Ты не один. Я с тобой. И это пройдёт».

Он медленно убрал руку. Ему было неловко, но уже не так мучительно.

— Спасибо, — тихо сказал он, обращаясь к своим шнуркам.

— Не за что, — она легко поднялась на ноги и протянула ему руку, чтобы помочь подняться. На этот раз он, после секундного колебания, принял её помощь. Его ноги всё ещё были ватными, но он смог устоять. — Всегда рада посидеть с кем-нибудь на полу. Особенно в такой интересной компании.

Она окинула взглядом разгром. Он сгорбился, снова чувствуя себя уязвимым и голым.

— Ты... ты ведь не расскажешь никому, правда?

Она посмотрела на него с таким искренним удивлением, что ему стало стыдно за свой вопрос.

— Конечно, нет. Это же твоё. Твоё... яблоко, — она снова улыбнулась своей солнечной улыбкой.

Она помогла ему поднять мольберт, собрать карандаши. Они молча работали рядом. И в этой тишине не было неловкости. Было странное, новое для него чувство — товарищества и разделённой уязвимости.

Когда порядок был более-менее восстановлен, она взглянула на часы. Она на мгновение замерла, опершись рукой о край парты, будто проверяя равновесие. На щеке вспыхнул румянец, слишком резкий для обычной усталости.

— Всё хорошо, — сказала она тихо, чуть запоздало, словно отвечая на незаданный вопрос. И улыбнулась — так, что сомнения растворились. — Мне пора. У меня репетиция в школьном хоре, — она направилась к двери, но на пороге обернулась.

— Себастьян?

— Да? — он смотрел на неё, все ещё не веря, что все это произошло наяву.

— В следующий раз, когда почувствуешь, что подступает... этот шарик... попробуй найти кого-нибудь. Не обязательно меня. Но... кого-нибудь. Сидеть с этим одному — очень скучно и очень тяжело.

И она ушла, оставив его одного в мастерской, но на этот раз одиночество было другим: оно не было пустым и давящим. Оно было... наполненным. Наполненным эхом её спокойного голоса, памятью о ритме её сердца и странным, упрямым ощущением, что, возможно, он не так уж и одинок в своей битве с демонами. И что его самое страшное оружие — изоляция — может быть, не такое уж и эффективное. Возможно, есть другой путь. Страшный, незнакомый, связанный с доверием и уязвимостью. Но всё же путь, а не тупик.

Он подошёл к столу, где лежало яблоко. Оно всё так же насмешливо поблескивало под люминесцентными лампами. Но теперь, глядя на него, Себастьян не чувствовал прежнего ужаса. Была тревога, да. Но также и... любопытство. Словно кто-то дал ему ключ от двери, которую он считал наглухо запертой. И теперь он боялся и хотел одновременно попробовать — а не крутанётся ли этот ключ в замке.

Глава 5: Натюрморт с молчанием

Путь домой был для Себастьяна долгим и мучительным. Он шёл не торопясь, по набережной Зальцаха, надеясь, что прохладный вечерний воздух и вид спокойной, тёмной воды смогут смыть с него следы сегодняшнего дня. Но внутри всё ещё бушевал хаос. Призраки атриума — насмешливый Юлиан, молчаливая Зофия — смешивались с воспоминанием о падении на пол в мастерской, о собственном унижительном страхе, и над всем этим парил образ Ноэми, её рука, прижимающая его ладонь к груди, её спокойный голос: «Дыши со мной».

Он чувствовал себя обнажённым перед миром. Всё, что раньше защищало его — контроль, холод, тишина — исчезло. Но её прикосновение... Оно было другим. Живым. Слишком настоящим, чтобы его можно было забыть.

Он остановился у парапета, глядя на отражения фонарей в воде. Они дрожали и расплывались, как его собственное «я». А кто он собственно теперь? Бывший вундеркинд? Просто парень с паническими атаками? Может тот, кого спасают на полу странные французские девочки? Он не знал. Опора, на которой он выстраивал свою жизнь последние три года — опора отстранённости, контроля, изоляции — дала растущую трещину. И он боялся, что стоит ему сделать неверный шаг, как всё рухнет.

Он дошёл до своего дома — солидного, но не вычурного здания в одном из спокойных районов, купленного отцом еще в те времена, когда семья казалась нерушимой. Фридрих Фогель ценил надежность, и дом отражал его характер — прочный, функциональный, лишённый декоративных излишеств. Себастьян провел ключом по замку, звук показался ему неестественно громким в вечерней тишине.

В прихожей пахло воском для паркета и чем-то готовящимся на кухне. Пахло... обыденностью. Той самой, которую он сейчас чувствовал себя не в силах вынести.

— Ты опоздал на семнадцать минут.

Голос отца донёсся из гостиной. Он сидел в своем кресле у камина (камин никогда не топили, это было чисто декоративным элементом, «архитектурной точкой фокуса», как говорил отец) и читал свежий номер архитектурного журнала. Он не поднял глаз на сына, когда тот вошёл.

— Занятия затянулись, — буркнул Себастьян, снимая обувь и ставя ее в идеально выстроенный ряд согласно общему порядку.

— Ужин через десять минут. Иди мой руки.

Себастьян прошёл в свою комнату, бросил рюкзак на кровать и замер посередине. Его взгляд упал на запёртый чулан. Там, за этой дверью, жили его призраки: свёрнутые холсты, работы «робота», как он их называл. Идеальные, бездушные, за которые его презирала мать. Он не открывал эту дверь больше года.

Он повернулся и почти наткнулся на этажерку с книгами. Его взгляд упал на старую семейную фотографию в серебряной рамке. Ему на ней было лет семь. Он стоит между отцом и матерью на террасе кафе «Томазелли». Отец смотрит прямо в камеру, его рука тяжело лежит на плече сына. Мать смотрит куда-то в сторону, в пространство, её улыбка немного отстраненная,

как будто она уже мысленно рисует что-то там, за рамками кадра. Он, маленький Себастьян, зажат между ними, и на его лице — не детская радость, а какая-то напряжённая серьёзность, словно он уже тогда понимал, что является полем битвы для этих двух сильных, таких разных людей.

«Ты стал роботом, копиистом! Я хотела вырастить творца!» — её последние слова перед уходом прозвучали в его голове с такой ясностью, будто она стояла здесь, в комнате.

Он резко отвернулся от фотографии и пошёл мыть руки. Он тёр их под струей горячей воды долго и тщательно, как будто пытаюсь смыть не только уличную грязь, но и память о сегодняшнем дне, о прикосновении Ноэми и о своей слабости.

Стол в столовой был накрыт с обычной, почти педантичной аккуратностью: скатерть безупречно белая, столовые приборы выстроены по ранжиру, салфетки сложены строгими треугольниками. Ничего лишнего. Фридрих Фогель уже сидел во главе стола. Он отложил в сторону журнал и ждал.

Себастьян молча сел напротив. Они с отцом были похожи — оба высокие, темноволосые, с одинаково прямыми спинами и сдержанными лицами. Но если лицо отца было маской спокойствия и уверенности, то его собственная маска... Он и сам не знал, что она теперь такое.

Из кухни вышла экономка, Марта, и поставила на стол супницу с дымящимся супом. Она молча кивнула им обоим и удалилась — в доме Фогелей было принято ужинать без посторонних.

Обед начался в тишине, нарушаемой лишь звоном ложек о фарфор. Суп был вкусным, как всегда. Но Себастьян ел механически, почти не чувствуя вкуса. Он чувствовал на себе взгляд отца. Взгляд, который, казалось, ничего не выражал, но при этом видел всё.

— Как школа? — наконец спросил Фридрих, откладывая ложку. Его вопрос прозвучал как обязательный ритуал, лишенный настоящего интереса.

— Нормально, — буркнул Себастьян, глядя в свою тарелку.

— Преподаватели ничего не говорили? О твоих... ну, успехах?

Себастьян почувствовал, как сжимается желудок. «Успехах». Каких успехах? В умении падать на пол в панике как бревно?

— Нет. Ничего особенного.

Наступила пауза. Фридрих взял со стола кусок хлеба, аккуратно разломил его пополам.

— Фрау Хубер звонила сегодня днем, — сказал он ровным голосом.

Себастьян замер с ложкой на полпути ко рту. Она задрожала и он медленно поставил ее на тарелку.

— Она... что она сказала? — голос его предательски дрогнул.

— Что ты не сдаешь работы. Что у тебя... трудности, — Фридрих произнес слово «трудности» так, будто это было какое-то техническое препятствие на стройплощадке, которое нужно преодолеть с помощью правильных расчетов. — Она также упомянула о предстоящем конкурсе. Считает, что тебе стоит поучаствовать.

Себастьян молчал, глядя на золотистую жирную пленку, покрывшую его суп. Ему снова стало душно. Комната начала медленно плыть.

— И что ты на это скажешь? — голос отца был по-прежнему спокоен.

— Я... я не буду участвовать, — прошептал Себастьян.

— Почему?

Потому что я сломаюсь?

Потому что все увидят, что я пустышка?

Потому что я боюсь?

— Я не могу, — сказал он вместо этого, и даже для него это прозвучало по-детски.

Фридрих откинулся на спинку стула, сложив руки на столе. Его пальцы — длинные, сильные, пальцы человека, который чертит планы зданий, — были сцеплены так плотно, что костяшки побелели.

— Себастьян, — он произнес его имя с нехарактерной для него тяжестью. — Ты обладаешь даром, талантом. Это налагает определённую... ответственность. Перед собой и перед... — он не договорил, но Себастьян знал — он хотел сказать «перед матерью». Но не посмел. — Бросать такое — непозволительная роскошь. Это всё равно что построить идеальный каркас здания и отказаться возводить стены.

— Может, это здание никому не нужно! — Себастьян не успел остановить себя, и его голос прозвучал громко и резко в тихой столовой. Он потёр виски, зажмурившись.

Фридрих смотрел на него, и в его глазах впервые за вечер мелькнуло что-то живое — не гнев, а скорее усталое недоумение.

— Нужно или не нужно... это решает архитектор. А не... пустое пространство вокруг, — сказал он наконец. Это была его характерная попытка философствовать, неуклюжая и тяжеловесная.

Себастьян снова опустил глаза. Спорить было бесполезно: они говорили на разных языках. Отец говорил на языке конструкций, планов, расчётов. Он — на языке хаоса, страха и боли, которую не мог выразить.

Они доели суп в гнетущем молчании. Марта зашла, убрала тарелки и принесла основное блюдо — запечённую курицу с овощами. Всё было идеально приготовлено и красиво разложено. И абсолютно безвкусно для Себастьяна в его нынешнем состоянии.

— Я купил тебе новые материалы, — внезапно сказал Фридрих, разрезая курицу. — Карандаши Koh-i-Noor, полный набор. И бумагу — ту, итальянскую, которую ты раньше любил. Она в твоей комнате.

Это была его форма заботы. Его способ сказать «я тебя поддерживаю». Не словами, не объятиями, не разговором по душам, а покупкой дорогих, качественных материалов. Так было проще и безопаснее для них обоих.

— Спасибо, — пробормотал Себастьян. В горле снова встал ком. От этих карандашей, от этой бумаги, и от этих ожиданий ему хотелось бессильно кричать.

Они доели ужин, не обменявшись больше ни словом. Когда Марта принесла десерт — яблочный штрудель, — Себастьян только покачал головой.

— Я не голоден. Можно я пойду?

Фридрих кивнул, не глядя на него.

— Уроки сделаны?

— Да.

— Хорошо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Себастьян поднялся в свою комнату и закрыл дверь. Он прислонился к ней спиной, чувствуя, как дрожь снова пробирается в его тело. На столе, рядом с его старыми, еще не распакованными наборами, лежала новая, блестящая упаковка карандашей и пачка дорогой, кремовой бумаги.

Он подошёл к столу и провёл рукой по гладкой поверхности бумаги. Она была идеальной, готовой принять любой его штрих. И от одной этой мысли его бросило в холодный пот.

Он снова посмотрел на ту самую фотографию: на лицо матери и на её ускользающую улыбку. «Ты стал роботом». А отец... отец пытался помочь ему стать лучшим роботом. Более совершенным и с лучшими материалами.

А кто он сам? Чего он хотел?

Раньше он знал ответ — хотел рисовать. Просто потому, что это было так же естественно, как дышать. Потом он захотел, чтобы его хвалили. Потом — чтобы его любили. А теперь... теперь он просто хотел, чтобы всё это закончилось. Чтобы его оставили в покое и он мог ничего не хотеть.

Но сегодня, в мастерской, на полу... он снова что-то почувствовал. Что-то кроме страха и пустоты. Тепло, связь и понимание. И это было так же страшно, как и всё остальное. Потому

что это требовало от него чего-то нового. Не перфекционизма и не контроля, а доверия и уязвимости.

Он подошёл к окну и распахнул его, впуская внутрь холодный ночной воздух. Где-то там была она, Ноэми — девушка, которая не боялась сидеть на грязном полу с чужими демонами. Девушка, которая рисовала на асфальте цветные города и говорила, что бояться — это нормально.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.